

Только летом и только в деревне приходит вечерами к людям такая грусть, от которой хочется плакать. Даже умереть хочется. Но и жить, конечно, хочется тоже. Хочется поделиться с кем-нибудь своими мыслями, раскрыть душу, пооткровенничать. Эх, да что там!..

В один из таких вечеров, когда июльская жара начала спадать, на свежоошкуренных брёвнах у невысокого сруба сидели трое. У ног каждого стояли плотницкие ящики с собранным в них инструментом. Курили. Разговаривали.

— Вот дай мне сейчас миллион, — говорил один, лет сорока, с прокопченным на солнце лицом, затыгиваясь “беломориной”, — скажи: езжай в город, — не поеду!

— А чего не поедешь-то? — с лукавой усмешкой спрашивал его молодой парень в клетчатой рубашке. — С миллионом-то?

— А на кой он мне хрен, этот миллион! — беззлобно отвечал “копчёный”. — Чего я на него покупать-то буду? Корову, что ли? Или верблюда? — он засмеялся. — А за квартиру да еду заплатил и — что? А на маршрутках этих дурацких сколько проедешь?!

— Машину купишь! — не унимался молодой. — “Тойоту”!

— Ну, правильно! — в тон ему ответил сорокалетний. — Куплю “Тойоту” ездить по болоту. Потом куплю “Мерседес” и поеду на нём в лес!..

— Петрович, да ты у нас поэт! — засмеялся молодой, показывая белые ровные зубы.

— Я-то поэт, а вот ты сейчас у меня по ушам схлопочешь! — потерял терпение “копчёный”, оглядываясь вокруг в поисках какого-нибудь предмета. — Сейчас я тебе, звонарю, выпишу!..

— Да не заводитесь вы, ну вас! — прикрикнул на них третий, пожилой мужчина, так же пробитый солнцем, в выцветшей до белизны армейской рубахе и галифе старого образца. — Нашли об чём языки трепать!

Помолчали. Вставать не хотелось.

Молодой искоса посмотрел на товарищей.

— Дядь Лёш, а об чём сейчас говорить-то? — обратился он к пожилому. — О политике, что ли? Так уж по телеку до отрывки надоела. Президенты всякие, бизнесмены... Я думал, выберем этих... как их... депутатов-то, так и жить станет лучше. Ну, выбрали! Ну, и чего?..

— Степаныч, дай-ка мне шерхебель, я ему объясню — чего! — “копчёный” протянул руку к ящику с инструментами.

— Сам ты шерхебель! — обиделся молодой. — Чуть чего, сразу — шерхебель!.. Деревня и есть деревня!

— А ты городской?

— Городской не городской, а лучше тебя понимаю в этом!

— В чём?

— В этом!

— Ну, в чём в этом-то?

— В жизни! — с вызовом ответил молодой и обидчиво отвернулся.

“Копчёный” некоторое время с удивлением смотрел на него, потом сказал, обращаясь к пожилому:

— Ты понял, Степаныч! Он, сопля зелёная, больше нас с тобой в жизни понимает!.. Нет, пожалуй, я ему всё-таки выпишу!

— А я не сказал, что с дядей Лёшей! — запальчиво возразил молодой. — Я только тебя имел в виду!..

“Копчёный” резко встал и схватил молодого за воротник рубахи.

— А-ат-ставить! — неожиданно звонким голосом выкрикнул пожилой. — Всем сесть!

“Копчёный” нехотя разжал руку и сел на бревно, продолжая зло смотреть на молодого.

Молча закурили. “Копчёный” с пожилым — “Беломор”, молодой — сигарету с фильтром.

— Во, и курит-то, как баба! — ехидно заметил “копчёный”, пуская дым в сторону молодого.

— Пошёл ты! — отреагировал тот.

Помолчали.

— Живал я в городах-то! — неожиданно произнёс пожилой. — Было дело!

Двое с интересом поглядели на него.

— Это когда же? — спросил “копчёный”. — В молодости, что ли?

— В молодости, Миша, в молодости! — с грустью сказал пожилой и затушил папиросу. — Ладно, потом расскажу! Идти надо!..

— Дядь Лёш! — взмолился молодой. — Не надо потом! Нельзя потом! Сейчас расскажите! Ночь ведь не усну, вы меня знаете!

Пожилый ласково посмотрел на парня, хлопнул себя по коленям и примирительно сказал:

— Ладно! Доставай-ка, Миша, тогда ещё папироску! Расскажу я вам одну историю, чего с вами делать!

Снова все закурили.

— Было это, значит, году... дай Бог памяти... в шестьдесят первом. При Никите ещё. Ну, Гагарин тогда в космос ещё полетел... Ну вот! Направили, значит, меня служить в штаб округа. Не каждому старлею, едрёна

корень, такая лафа выпадет, а мне пофартило. Правда, я тогда документы в академию имени Фрунзе уже подал. Карьера, в общем, корячилась мне капитальная...

На слове “карьера” “копчёный” хмыкнул и хитро покосился на рассказчика. Тот почувствовал недоверие, но продолжал говорить с той же спокойной интонацией, но теперь больше обращаясь к молодому.

— Ну, штаб нашего округа располагался прямо в городе. Тут и склады, значит, и всё такое...

Он сделал паузу, как бы набирая сил перед решающим шагом, смахнул пепел со своих линейных галифе и продолжал:

— И вот приходит однажды, значит, бумага из академии. Вызов, значит. Требуют прибыть на экзамены со всеми там разными документами. А главное, едрёна корень, характеристику требуют...

Алексей Степанович коротко взглянул на “копчёного”, затушил папиросу и сказал:

— Миша, я ведь могу и не рассказывать!

— Дядь Лёш, — вскочил молодой, — плюньте на него! Он вообще никому не верит! Вы мне говорите!

Пожилый расправил белесые брови, улыбнулся в усы и продолжал:

— Ну, вот. А характеристику эту, мать её в душу, надо было получать у нашего замполита... Сейчас-то, кажись, этих замполитов на попов поменяли. А раньше были. Ну вот, запер я склад, значит, и пошёл...

Сорокалетний издал булькающий звук, но Степаныч не удостоил его вниманием.

— Суббота была, как сейчас помню. Офицеры все по домам сидят. Кто с жёнами, кто чего... Ну, я и пошёл к замполиту домой. За характеристикой, значит. А замполит этот, едрёна корень, каждую субботу в баню с утра закатывался. Парилыч был, мать его, спасу нет! Ростом метра под два, морда — вот с этот ящик. Гириями, помню, всё занимался... И жена у него — такая же баржа. Задница, наверное, с колесо от “Белоруса” будет! Поговаривали, на передок слаба, да я что-то не верил...

— Не верил, пока не проверил! — хихикнул “копчёный”, но молодой так на него посмотрел, что он только рукой махнул: — Мели, Емеля!

— Ну, вот, — продолжал Степаныч, обращаясь к молодому, — прихожу я, значит, к замполиту. Звоню в дверь. Открывает жена. Улыбается, как родному, и говорит: “Вы, наверное, к Косте? Проходите, пожалуйста. Он скоро придёт. В баню, знаете ли, пошёл!” И смотрит на меня такими глазами, словно проглотить хочет. Ну, протиснулся я между её грудями и стенкой, вошёл. Стою себе тихо. А она: “Да вы садитесь, не стесняйтесь! Сейчас мы с вами чай будем пить!” Ни хрена себе, думаю. А она поёт-заливается: “Нет, лучше что-нибудь покрепче! Ведь вы не откажетесь со мной выпить что-нибудь покрепче?” Ну, думаю, влип! А как тут откажешься! Да и вообще я тогда не умел отказывать. Особенно женщинам. Молодой был!...

Алексей Степанович покосился на ухмыляющегося “копчёного”, взял из услужливо протянутой молодым пачки сигарету и продолжил рассказ:

— Поставила, значит, эта корова бутылку на стол, а сама всё титьками у меня перед носом крутит. “Я, — говорит, — свободная женщина свободной страны!” Ну, сидим, выпиваем. Нормально так, значит, сидим. Вдруг она и говорит: “А почему бы нам не потанцевать?” И пластинку ставит с каким-то танго. А я к тому времени подзабадел малость, смелость чувствую. Ну, обнял этот мясокомбинат, танцуем. А она положила мне голову на плечо и поёт, чисто канарейка: “Вы так прекрасно водите, что я готова с вами танцевать вечно!” А сама бочком-бочком, да к дивану...

— Вот это ближе к делу! — поднял указательный палец “копчёный”. — А то — академия, характеристика!

Пропустив мимо ушей реплику Михаила, Алексей Степанович продолжал:

— Не знаю, как уж всё и получилось, а... получилось, в общем! Ох, и знойная же баба! В жизни таких не встречал!

— А Нюрка-то твоя хуже, что ли? — опять встрял “копчёный”. — Петерых-то тебе нарожала!

— Нура женщина нормальная, — внешне спокойно ответил Степаньч, — а вот ты... Ладно! Лежим, значит, с ней на диване, милуемся. И вдруг я слышу: ключом в замок тычут. Упал тут у меня... это... интерес не только к любви, но и к жизни... А эта вспорхнула, как бабочка, халат одёрнула и шипит мне: “Лезь в шкаф, я задержу его!” Ну, чего делать? Схватил я брюки, рубашку с кителем и — мухой в шкаф. Хорошо, что трусы успел надеть...

— Чьи? — давясь смехом, промычал “копчёный”. — Еённые, что ли?

— В еённые нас троих можно бы спрятать, а я — свои!.. Ну, сижу я, едрёна корень, в шкафу среди майорских шинелей — ни жив, ни мёртв. И слышу, значит: “С лёгким паром, дорогой! А что так рано? Случилось что?” “Да нет, — гудит замполит, — просто мне сегодня в наряд заступать!” И проходит, слышу, в комнату, на диван садится. А она, стерва, ласково так: “Ах, ты, мой маленький, ах, ты, мой птенчик!” И слышу, кладёт “птенчика” на диван. Ну, думаю, отвлекает. Значит, думаю, чесать надо... А они разложились на диване и вот себе кувыркаются! Меня такое зло взяло, что я... чихнул, короча! В общем, как в анекдоте, а то и похлеще!

— Степаньч, а в трусы-то — не того, не наделал? — хохотал “копчёный”, хлопая себя по коленкам.

— Не наделал, — спокойно ответил Алексей Степанович. — Потому что злость взяла!.. А этот подошёл к шкафу, открыл дверцу и спрашивает: “Ты зачем тут?” Я, помню, как увидел перед собой слона этого, так и похолодел весь. Прикрылся штанами и говорю: “Мне бы характеристику!” Он внимательно так посмотрел на меня, потом на жену, и говорит: “Это можно!” И берёт меня, паразит, одной рукой за волосы, другой за трусы... больно так... поставил на подоконник и говорит: “Прыгай!..”

Алексей Степанович замолчал и протянул руку в сторону упавшего от смеха “копчёного”:

— Достань-ка “беломоринку”-то, мерин!

— Дядь Лёш, а дальше-то чего? — тоже смеясь, спросил молодой.

— Дальше? — Алексей Степанович с наслаждением затыкнулся папиросой. — А дальше — всё! Финиш!.. Третий этаж, как ни говори!..

Быстро темнело. В окнах гас свет. Деревня затихала. Люди готовились ко сну.

— Пожил я в городах-то, ребята, пожил! Так-то! — задумчиво проговорил Алексей Степанович, глядя на полыхающее закатное небо. — Хороший денёк завтра будет!..

БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ

Степан Боровков любил писать стихи. Читать их он не любил, а писать просто обожал. И получалось это у него, как он сам думал, просто замечательно.

Свои произведения Степан ни в газеты, ни в журналы не посылал, хотя был уверен, что там бы их напечатали непременно. На вопрос жены, для чего он “переводит бумагу”, поднимал вверх указательный палец и многозначительно изрекал:

— Имеющий уши да услышит!

— О, Господи! — обречённо вздыхала жена и уходила к соседке.

А писал Степан Боровков о деревенской жизни, о коровах и лошадях, о заливных лугах и перелесках, о родниках и речках, о живности всякой разной. То есть о том, что хорошо знал и любил, поскольку жил в деревне и работал пастухом. С ранней весны и до “белых мух” сочинительствовал на природе, а пожухнет трава — дома, в тепле да уюте. Благодать!

И не было на свете, казалось, такой силы, которая смогла бы оторвать его от любимого занятия. Жена, правда, хоть и махнула рукой, но иногда в сердцах жаловалась соседям: “Лучше бы уж шил, а то — что есть, что нет мужика! Одно слово — писатель! И откуда у него это? Беда прямо!”

Своей “болдинской осенью” Степан называл время, когда природа освобождала его от выполнения “функциональных обязанностей”, как любил выражаться местный зоотехник. Хотя и невелика забота — стадо пасти, а всё равно отвлекает, мешает сосредотачиваться в поисках слова или поэтического образа. А тут полгода, считай, свободен, как ветер. Пиши себе, сколько влезет. Поэтому ни о какой другой профессии Степан Боровков и слышать не хотел.

Однажды зимой вопреки трудовому договору направили, было, пастуха убирать навоз за коровами, но это вызвало у него такой протест и возмущение, что направиители отступились.

— Чёрт с тобой! — сказал бригадир. — Иди, пиши свои стихи!

И Степан писал. Писал много, иногда по несколько стихотворений в день. Да и редкая ночь проходила вхолостую — с десяток-то строчек почти всегда оставались на бумаге и ждали утренней доработки.

Со временем его поэтический взгляд стал несколько мрачнее, язык — жёстче, темы — острее.

К современным поэтам Степан относился ревниво. Не то чтобы завидовал, просто они не внушали ему доверия. Когда слышал по радио или видел в газете стихотворный текст, губы его кривились, и он ядовито выговаривал:

— Ну-ну, валяй-валяй!..

Степан с годами почему-то всё больше становился уверен, что рано или поздно он заявит о себе в полный голос и на всю область, а то и страну, его заметят, услышат и издадут книгу в красивом переплёте. Книга непременно должна быть большой, солидной, а на обложке изображена его деревня и лошадь с жеребёнком. Само собой — фотография и предисловие: кто, мол, что и откуда...

Лет пятнадцать назад, когда народ валом повалил из деревни, Степана охватила тоска. Были периоды, когда недели по две кряду не писал ни одной строчки. Какое-то злое безразличие навалилось на него, отвращение ко всему, апатия. Когда же чуть отпускало, он хватал свою тетрадку, убегал к дальним ригам и дня два не показывался никому на глаза. Выливал свою тоску в рифмованные строчки, и ему становилось легче. Он писал:

*Запрокинулась в душу кручина,
И не ладятся что-то дела.
Молодой ещё, в общем, мужчина,
Но и этот бежит из села...*

Жена Настя не всегда спокойно воспринимала литературные занятия мужа. Некоторое время после свадьбы она с интересом наблюдала за ним, и ей было даже весело. Но видя, что “блажь” эта не проходит, начала тревожиться, а потом и сердиться. Заказала, было, даже зелье отворотное у старухи-повитухи из соседней деревни, да так за ним и не сходила. Только всё настойчивее просила мужа показаться доктору. Когда же поняла, что все хлопоты по излечению мужа напрасны, отступилась, сказав то же, что и бригадир.

Причиной крайнего возмущения для Степана были дачники. Они появились в деревне как-то сразу, внезапно. Степан сначала даже обрадовался приезду новых людей на блестящих машинах. Но когда увидел, как с грохотом и хохотом рушатся старые постройки и возводятся каменные заборы, а женщины в одних купальниках разгуливают по деревне, в один миг всё в нём перевернулось.

— Да что с тобой? — спрашивала жена, видя, как супруг места себе не находит. — Скажи толком.

— Что со мной, говоришь? — взвизывался, словно ужаленный, Степан. — А ты разуй глаза-то! Ты иди, глянть на срамоту-то, иди...

Насте было жаль мужа, и в то же время смешно, отчего он ерепенился ещё больше:

— Да ведь это же конец всему! Это же... Ведь погубят же всё! Чего им тут надо? Да ничего им тут не надо! Всё им тут чужое, и сами они чужие!.. Вон, титьками трясти — это они умеют, это им только давай!.. Неужели сама-то не видишь? Неужели вы все этого не видите? Караул кричать надо,

а они... — размахивал руками Степан, обращаясь то к жене, то к воображаемому народу. Затем, если не было рядом детей, отпускал несколько крепких словечек и убегал куда глаза глядят.

Слова “дачники” или “приезжие” Степан не произносил. Он говорил — “эти”.

— Эти-то, видела, нынче на двух “Мерседесах” прикатили. Дармоеды!.. А ты знаешь, сколько такой крокодил сейчас стоит? Не знаешь? Так вот — ворьё! В городе наворовались, а здесь с жиру бесятся!.. Ты брюхо-то у этого видела? Дирижабль!.. Во, музыку завели, теперь всю ночь дубасить будут! Ну, банда!..

— Степан, отступился бы ты от них, — уговаривала Настя. — Нормальные же люди, как и все...

— Как и все?! — вскакивал Степан. — Нет, не как все! Все-то, вон, работают! А этим только пузо греть да песни орать!..

Особое негодование у Степана вызывали курящие женщины. Он всегда считал, что если женщина курит, то это пропащая женщина. Он сразу и решительно подводил черту: “Клейма ставить негде!” А здесь был целый ансамбль. Курили все, от мала до велика, — и мужчины, и женщины, и даже, как показалось Степану, дети.

Смотреть на это не хотелось. Хотелось уйти, убежать, уехать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы потом вернуться и не найти в родной деревне этих дачников с их блестящими машинами и чтобы всё было хорошо и радостно, как раньше.

Стихи сами собой ложились на бумагу.

*Я опять возвращаюсь дорогой,
По которой ушёл год назад
От коровы своей однорогой
И голодных пугливых телят.*

Корова у Степана действительно была, но двурогаая, а в стихах он оставил ей один рог для пущей тоски и жалости.

Он перечитывал свои стихи, и слёзы сами собой катились из глаз.

Все три летних месяца, особенно по выходным дням, Степан вставал в шесть часов утра и угонял стадо на дальние выпасы. Он не хотел видеть, как просыпаются дачники, как они потягиваются, лениво перебрасываясь глупыми шутками, как готовят еду, курят и пьют пиво.

В лесу, когда стихали радостные аукания “этих”, он доставал заветную тетрадочку и самозабвенно писал, изредка поглядывая за стадом.

*Я иду, а навстречу мне прямо, —
Даже стыдно в стихах говорить, —
Незнакомая дама в панаме
И в купальнике: “Дай закурить!”*

*И другие вопросы похлеще
Эта женщина мне задаёт.
До какой же бессовестной вещи
Докатился приезжий народ!..*

Говоря газетным языком, подобная конфронтация могла продолжаться неизвестно сколько времени, если бы не случай. Вернее, два, последовавшие один за другим и круто изменившие судьбу нашего героя. А произошло вот что.

В разгар лета, пригнав коров на дойку, Степан Боровков по давно заведённому правилу присел к своей любимой берёзе и стал ожидать того момента, когда деревенские женщины пойдут домой, благодаря его за заботу об их кормилицах и поилцах — Ласточках, Звёздочках да Забавах, о барашках да козочках.

Перекусив наскоро, Степан достал блокнот с набросками новых стихов и стал вчитываться в строчки, но вдруг понял, что засыпает. Это было так непривычно, что ему сначала подумалось — не умирает ли он. Он даже хотел позвать женщин, предупредить их, чтобы забирали свою скотину и шли

домой. Но не успел и рта раскрыть, как под мелодичный звон упругих молочных струй о бока подойников погрузился в короткий, но глубокий и крепкий сон. И явился ему во сне архангел Михаил с каким-то предметом в руках.

Здесь следует сделать небольшое отступление. Дело в том, что Степан Боровков был атеистом. Не ярым и агрессивным, как некоторые, но в существование Бога и другой небесной силы не верил. Правда, сильные раскаты грома и сверкание молнии каждый раз заставляли его осенять себя крестным знаменем. А переходя по льду речку Тоймину, он ещё и приговаривал: “Спаси и сохрани, Господи!” К священникам относился уважительно, без иронии, но и без внутреннего почтения. А видом старинных церквей и храмов мог любоваться часами. Стихов на эту тему у него было написано много.

Наверное, поэтому встреча с архангелом Михаилом его не очень удивила. А то, что это был именно этот посланец Всевышнего, а не какой-то другой, Степан не сомневался. Почему? Об этом он и сам не знал. Скорее всего, кто-то внушил, подсказал.

Архангел Михаил, как бы паря в воздухе, обратился к Степану с вопросом: — Чем отличается пастух от пастыря?

Степан понял, что надо немедленно дать ответ, да такой, чтобы не обидеть посланца, не показать свою безграмотность. Он уже начал было подбирать слова, но архангел Михаил опередил его:

— Знаю, что ты скажешь. Но это не так. Пастух и пастырь — одно и то же. Оба — заботники о тварях земных, оба врачуют души человеческие, даруют радость и несут свет. Главное и единственное их оружие — слово. Слово и есть Бог.

Степан хотел, было, блеснуть знанием Евангелия, где говорится о том, что “Слово было у Бога” и так далее, но архангел, шевельнув крыльями, вновь опередил его:

— Ты пастырь, а не агнец. Помни об этом. К тому же у тебя в руках слово, дарованное тебе Отцом Небесным. Распоряжайся им не по своему усмотрению, а по велению Господа нашего. Тогда найдёшь себя, тогда будешь нужен людям.

Степан сделал шаг навстречу к архангелу, чтобы поблагодарить его и передать свою благодарность Богу, и в этот же момент увидел, что в тонких пальцах рук своих тот держит книгу, на которой написано: “Степан Боровков. Избранное”.

Было бы неверно сказать, что Степан испытал радость, восторг или какие-то другие чувства от того, что увидел свою книгу в руках архангела. Он это принял как данность. Потому что предполагал подобное, всю жизнь мечтал, думал об этом, верил в это.

Проснувшись, он был удивлён тем, что мир вокруг него почти не изменился. Разве что женщины покинули стойбище да коровы улеглись. А солнце, небо, облака, лес, луг, поле — всё осталось на своих местах и в том же виде. Да и сам он, Степан Боровков, был таким же — с руками, ногами, головой. Таким же, но не таким. И прежним, вроде, но другим. Степан это понял, ощутил всем существом, душой в первую очередь. Он как бы приподнялся над землёй. Не воспарил, не оторвался от неё, а словно стал выше ростом, умнее, тоньше, смелее и увереннее.

И ещё понял Степан, что об этом никто не должен знать, никому рассказывать нельзя. Да и был ли он, сон-то, вообще?

Нет, сон, всё-таки, был, и архангел Михаил с книжкой в руках тоже был! Иначе откуда же всё это, о чём и подумать страшно!

Домой Степан вернулся тихим, умиротворённым. Таким он оставался и на следующий день, и через день, и через неделю.

Жена заметила изменения в поведении мужа и была бесконечно рада. По душе ей было то, что Степан утром и вечером приветствовал жену, ласково смотрел на неё и что-то про себя нащёпывал, словно благодарил кого-то. Объяснить это она ничем не могла, но считала, что супруг начал стареть, умнеть и успокаиваться.

Сам же Степан знал, что отныне он должен вести себя так, чтобы не прогневить Того, Который всё видит, слышит, понимает, распоряжается твоей судьбой, твоей душой и разумом. У него в ушах то и дело звучал тихий

голос архангела Михаила, шелест его крыл, он видел свою книгу в его руках. Нет, он должен работать, не жалея себя, не жалея сил и времени. Работать над собой, над словом. Писать, в общем, иначе...

Второе событие, изменившее жизнь Степана Боровкова, случилось буквально через неделю. И оно, как спустя некоторое время понял Степан, было логическим продолжением первого. Более того, второго события без первого просто-напросто и не могло бы произойти. Это, как говорится, не ходи к гадалке. А случилось вот что.

Часу в шестом вечера сидел Степан на берегу реки под любимой своей берёзой и писал стихи. Рядом паслись коровы, привыкшие к тому, что их никто без надобности не тревожит, не перегоняет с места на место.

— Извините, не помешал? — внезапно за спиной пастуха, заставив его вздрогнуть, раздался приятный мужской баритон.

Поодаль стоял пожилой человек в модных затемнённых очках и с корзинкой в руке. — Посижу с вами, если позволите. Устал, знаете.

Степан сразу почувствовал интеллигентного человека. В этом смысле обмануть его было невозможно. Уж если “простите” да “позвольте”, точно — интеллигент! И хотя Степан не очень любил всякие заковыристые словечки, уважение к образованным людям испытывал.

— А чего ж, садитесь! — ответил он, закрывая тетрадь. — Места хватит.

— Прощу меня извинить, — помолчав с минуту, продолжал незнакомец, — я уже несколько раз замечал, как вы что-то пишете... Нет-нет, разумеется, вы можете не говорить... Но меня это интересует как человека в некотором роде, знаете ли, творческого, связанного с литературой... Уж не стихи ли?

Степан почувствовал в словах очкарика искренний интерес и просто ответил:

— Да пишу вот... Вирши, как говорится.

Незнакомец участливо улыбнулся:

— А нельзя ли взглянуть? Дело в том, что ваш покорный слуга много лет ничем другим не занимается, как редактирует газету. Грешен, и сам иногда рифмоплётствую. Правда, времени для этого всегда было мало, а сейчас особенно... Ну, так как?

Степан вдруг ощутил, что не испытывает к этому дачнику никакой неприязни. Наоборот, ему приятно вот так сидеть и разговаривать с “этим”, который смотрит прямо в глаза и говорит просто и ясно.

Степан протянул ему тетрадку...

Когда возвращались домой, Степан говорил:

— Да ведь я понимаю, Алексей Константинович, что читать надо больше, учиться. Да некогда ведь. И поздно уж, наверное. Но ведь нынче-то что пишут? Ведь почитаешь — ужас! Не пойми чего пишут! Мне иногда кажется, что после Некрасова хороших поэтов у нас вообще не было. Ну, Есенин разве...

За ужином Настя спросила, с тревогой глядя на притихшего мужа:

— Ты чего такой сегодня, Сень? Нemoжется, что ли?

Степан поднял на жену грустные глаза:

— Всё хорошо, Настенька. Всё очень хорошо!

Вскоре стало всем ясно, что характер пастуха Степана Боровкова резко изменился в лучшую сторону. Деревянные жители, особенно дачники, диву давались, что могло произойти с человеком, к которому ещё вчера подойти было страшно, — обязательно лишит настроения. Люди, недавно сторонившиеся его, теперь с радостью шли навстречу, зная, что пастух непременно порадует их добрым приветливым словом, стихотворной шуткой. Теперь он, прогоняя стадо мимо дачных домов, вешал на плечо кнут, приподнимал за козырёк кепку и радостно восклицал:

— Доброго здоровычка! Денёк-то, денёк-то какой нынче, а!..

Улыбка не сходила с лица Степана.

В один прекрасный день с напускным равнодушием, но весь будто светясь изнутри, он сказал жене:

— Константиныч-то, слышь, отобрал кое-что из моих ранних. Обещал напечатать. Ну, мать, теперь держись!..

Долгожданные мир и покой вернулись в семью Боровковых. Теперь, по-хоже, навсегда.

БАБНИК

*Эх, лапти мои, лапоточки мои,
Приходи ко мне, мой милый,
Ставить точечки над "и"!*

Народная частушка

Жили в деревне Каликино два друга — Миша Громов и Валерка Шестаков. Дома их были рядом, учились в одной школе, даже в армии служили в одном полку. Валерка, правда, вернулся на “гражданку” младшим сержантом, а Миша — рядовым.

Деревенские диву давались, как могли сдружиться эти столь непохожие друг на друга парни. Валерка — высокий, черноволосый, с крупными карими глазами и крутым румянцем на смуглых щеках, неисправимый озорник и неунывающий балагур. Девчонки и молодухи сплошь теряли от него головы. Словно подтверждая репутацию, он любил напевать: “В любви надо действовать смело, // вопросы решать самому, // и это серьёзное дело // нельзя доверять никому”.

Совершенно противоположную картину представлял собой Миша Громов. Среднего роста, худощавый, желтоволосый, он, в основном, молчал, опутив голубые очи долу. С детства Миша был страстным книголюбом. Не было для него большей радости, чем уединиться с какой-нибудь новой книжкой в укромном уголке и представлять себя то благородным разбойником, освободителем крестьян, то капитаном судна, застрявшего во льдах. При женщинах он жутко смущался и до поры до времени обходил их стороной.

Но случилось так, что Миша без памяти влюбился в Лизу Завьялову из соседней деревни Вокшары. Лиза полтора года как выгнала своего муженька-пьяницу и теперь проживала одна-одинёшенька, споро управляясь со своим немалым подворьем. Хороша была Лиза до такой степени, что трезвому мужику мимо неё пройти не было никакой возможности, не залобовавшись. Высока, стройна, полногруда, с ясными глазами и заразительным смехом, она в самое сердце поразила скромного и застенчивого Мишу Громова. И до того тяжёлым показался ему этот крест, что хоть в омут головой. Часа, минуты не было, чтобы он не думал о любимой женщине.

И подойти бы ему к Лизе, обмолвиться словечком, распахнуть перед ней бездонную синеву своих глаз. Да хоть до дому бы проводить, как это часто делал с другими его закадычный дружок. Улыбнуться бы молодой женщине, рассказать о прочитанной книге, бросить майским вечером в её распахнутое окно букет сирени... Эх, Миша, Миша!

И всё же то ли весна сделала своё дело, то ли муку сердечную переносить стало невмочь, но сподобился Михаил на решительный шаг.

В Вокшарах, где жила Лиза, был клуб, куда молодёжь два раза в неделю ходила в кино и на танцы.

В один прекрасный вечер, когда друзья, посмотрев кино, возвращались в своё Каликино, Валерка сказал, показывая на Лизины окна:

— Смотри-ка, у Лизаветы-то свет горит. Не спит красавица. Может, зайдём?

Миша весь залился краской, чего нельзя было заметить в сумерках, и сказал хриплым от волнения голосом:

— Валер, ты... вот что... зайди один. Скажи, чтобы она... это... вышла, а? А я здесь подожду. Ладно?

— Ну, какой вопрос! — весело отозвался Валерка, хлопнув друга по плечу. — Сейчас оформим, всё будет абгемахт! Жди!

Он, словно дух, исчез в дверях Лизиного дома, а Миша стал нервно ходить вдоль палисадника, не отрывая взгляда от ярко освещённых окон.

Прошло минут десять, прежде чем он успокоился и прекратил бестолковую беготню взад-вперёд. Силуэты Валерки и Лизы, чётко отражённые на занавеске, вдруг встали и слились в один. Это длилось около минуты. “На ухо ей, что ли, чего шепчет?” — подумал Миша, вглядываясь в экран занавески.

Тем временем силуэты Валерки и Зины разошлись и вновь приняли сидячее положение. По отдельным движениям Миша понял, что его товарищ и Лиза стали пить чай. “Тоже мне — “сейчас оформим”! — мысленно передразнил приятеля Миша. — Всего и делов-то — сказать, чтобы вышла, а он... Оформитель!”

Силуэты вновь поднялись и вновь соединились. “И чего шептаться, когда всё можно сказать вслух!” — с лёгкой досадой подумал Миша.

Внезапно свет в окнах погас, и на Мишу обрушилась тишина, нарушаемая лишь тяжкими вздохами коровы на Лизином дворе. “Ну, слава Богу!” — подумал Миша, подходя к калитке палисадника для встречи друга и предмета своей тайной любви.

Но из дома никто не выходил. Вскоре прежнее волнение вновь стало овладевать Михаилом. Минут через пятнадцать, устав мотаться вдоль палисадника, Миша стал анализировать ситуацию. Привычно оправдывая действия друга, он думал так: “Видимо, не уговорил. А поскольку разговаривали долго, почти час, он подумал, что я ушёл, а сам рванул домой через двор да огородами”.

Коровьи вздохи, между тем, стали чаще и ритмичнее.

“Почему всё-таки она не вышла? — продолжал размышлять Миша. — Не поверила? Или Валерка не так уговаривал?.. Да нет, Валерка кого хочешь уговорит!”

Вскоре коровьи вздохи, перешедшие было в лёгкие постанывания, прекратились. До Мишиных ушей донёсся звук, похожий на чмоканье губ. “Надо же, если бы не знать, что корова, можно бы подумать...” Миша усилием воли оборвал продолжение мысли и присел на лавочку, прислонившись спиной к рейкам палисадника. Сон быстро овладел молодым организмом, врачая его от душевных терзаний.

Разбудил Мишу своей утренней песней красавец-петух на Лизином дворе. Его дружно поддержали пернатые соседи, и вскоре вся деревня наполнилась петушиным многоголосьем.

Посмотрев на часы, Миша встал, потянулся, посмотрел голубыми глазами в утреннее, безоблачное небо и зашагал к своей деревне.

Он шёл по родной улице, когда на требовательные похлопывания пастушьего кнута из домов стали выгонять скотину. Мишина мать, увидев сына, засемила ему навстречу. Шагов за пять она подняла хворостину, которой только что охаживала корову, и сердитой скороговоркой стала выговаривать сыну свои материнские упрёки.

— Ты чего, ты чего, мам! — попытился Михаил, закрываясь от неминуемых ударов.

— Я тебе дам “чего”! — высоко заголосила Серафима. — Я тебе дам “чего”! Замамкал! О матери вспомнил, стервец! Где, говори, шлялся? Говори, зимогор!

Она вдруг остановилась, бросила хворостину и запричитала:

— Всё-то ночь не спала-а! Всю-то ночь думала-а! Думала, убили где-е!.. Соседи, сложив ладони козырьком, с интересом смотрели на происходящее. Миша подошёл к матери, обнял её за плечи:

— Ну, мам, ну, чего ты!..

— Бабник! — Серафима дёрнула плечами и ещё громче воскликнула: — Бабник! Это в отца, что ли, бабник-то такой, а! Сил моих нету-у!..

Миша увёл плачущую мать в дом.

Соседи, постояв ещё немного, пошли хлопотать по хозяйству. Деревня проснулась и позвала людей к обычным своим заботам.

А Мишу Громова так до старости и звали Бабником, хотя он ни разу не изменил своей жене Валентине, нарожавшей ему шестерых голубоглазых, как летнее небо, и желтоволосых, как спелая рожь за деревней, мальчиков и девочек.